

15 июня 1985

СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

— Вы росли в краю, где сам воздух пропитан... поэзией. Ф. Тютчев, А. К. Толстой, многие другие знаменитости жили и творили по соседству с вашим родным селом. Впечатления детства, знание деревни, трудовые мозоли — все было для вас, Николай Матвеевич, впервые на земле предков. А литературное творчество? Многие поэты, выходя из села, начинали с частушки, рождающей образное мышление...

— Без частушки не обходилась ни одна вечеринка. Наше село очень большое, даже делилось на части, в каждой своя гармонь. Но надо было что-то и петь под гармонь. Я первый начал поставять частушки. В ходу были особенно злободневные. Никто тогда не заботился об авторстве. Не объявляли ведь, кто сочинил частушки, зато запоминали их сразу и разносили широко.

— Итак, от частушек вы перешли к поэзии? Некоторые утверждают, что пора для писания стихов — юность. Как вы считаете? Ведь вы тоже сами начинали как журналист...

— Пора та, когда пишется. Начинать надо в юности, когда свежо воображение, не скова но сознание, а заниматься — всю жизнь.

Начало моей журналистской деятельности относится к тридцатому году. Тогда я работал в Карелии. А в 1934-м я приехал в Смоленск, поступил в газету «Рабочий путь». М. Исаковский и А. Твардовский жили уже в Москве, но в коллективе остались Н. Рыленков и другие хорошие поэты, сильные критики. Критиковали всех, причем очень беспристрастно. Эта хорошая школа запомнилась навсегда. В Смоленске научили меня не держать камень за пазухой — привык не обижаться на критику, без которой не бывает настоящего литературного процесса.

Мне, читателю, особенно нравятся фронтовые стихи Н. М. Грибачева. За каждым образом в них чувствуешь живого человека. Такое же впечатление производят рассказы: «День и две ночи», «Белый ангел в поле» и военная повесть «Здравствуй, комбат!». Очевидно, что так писать может лишь очевидец и участник Сталинградской битвы комбат Грибачев. И я спрашиваю писателя:

— Эта «кладовая» еще не исчерпана? Вы еще вернетесь к теме войны?

— Не знаю. По плану в литературе не работаю — не хватает времени, много забирают три журнала. Но, конечно, материалов о войне в папке много. Начинал писать «Записки комбата» — пока не кончил.

Работоспособности Николая Матвеевича можно позавидовать. Такие нагрузки, как мне кажется, может выдержать и успешно с ними справиться лишь человек, которому с детских лет привито трудолюбие. Прошлым летом мне довелось побывать в брянском селе Лопушь, на родине писателя. Еще 6-ла жива его мама, и односельчане с теплотой говорили о Ефросинии Дорофеевне, которая по мере сил старалась сама выполнить работы по дому, в саду, в огороде. Я прошу Н. М. Грибачева рассказать о его матери.

— Моя мать слыла в селе мудрым человеком. Она умерла на сто втором году. До последних дней сохранила ясность ума, широту мышления. Помню, как в десятилетнем возрасте я отказался ходить в церковь. Соседи меня осуждали, а мать заступилась и ответила: «Ему, молодому, жить — пусть сам и решает!» Потом из нашего дома исчезли иконы. Прошло какое-то время, и моя мать перестала ходить в церковь. Она особенно любила народные присловья, обогащала свою речь народными пословицами, поговорками, оживлялась, когда я приводил с рыбалки товарищей. Я гордился, что моим гостям в обществе моей матери не было скучно.

— И, конечно, ваше любимое место — село Лопушь...

— Для человека нет краше мест, чем те, где он провел детство. Я приезжаю в Лопушь обычно летом. Это как раз та пора в июле, когда и день еще не кончился, и ночь не началась, а стоит нечто неопределенное, окрашенное в серые, коричневые, фиолетовые, синие, оранжевые и розовые тона. У художников для изображения этой поры, по-моему, просто не хватает красок, вот почему так редко можно встретить на выставках картин великолепие русского предвечерья. Еще гудят пчелы, но уже как-то глуховато, устало. Стремительно растут тени от лип, все дальше протягиваются и притихшие поля, розовым лаком покрыта вода на середине пруда, а возле берега густеет синева, из которой вдруг серебривой стрелкой высочит верхоплавка или разведет у самого камыша чернильные круги небольшая щука; основные леса за рекой становятся не то синими, а скорее черными с дымчатым отливом... Хорошая пора! И моя первая учительница Мария Васильевна Зверева была связана с селом Лопушь всю свою длинную, девятидесятилетнюю жизнь. Удивительно, но она для всех была первой учительницей. У нее учился еще мой отец. В нашем селе она пользовалась непререкаемым авторитетом. Помню такой случай. Во время обеда кто-то из приезжих спросил старого колхозника дядю Ваню, кто старшее — он или сидевшая рядом наша первая учительница. Мария Васильевна бросила на дядю Ваню лукавый взгляд: «Кто же из нас старше, Ванечка, ты?» Дядя Ваня поспешно встал: вытянул по швам свои большие руки с узловатыми пальцами и удивительно мягко ответил: «И рад бы стать старше, Мария Васильевна, да никак это невозможно. Вы моя дорогая учительница, я ваш ученик, в 1907 году сдавал вам выпускной экзамен». 65-летний дядя Ваня продолжал стоять. «Да садись, Ванечка», — сказала она.

Село прежде было небольшим. По крутому берегу стояли табунками по пять-шесть рядом хатки, словно сговариваясь убежать куда-нибудь на поиски счастливых мест. Но бежать было некуда: все здесь находилось в клешнях помещичьих усадеб Репных, Брусиловых, Поршняковых. Особняком на круче белела маленькая церковь. Часто на колокольне церков-

Николай Грибачев:



Наш собеседник — Герой Социалистического Труда, Председатель Верховного Совета РСФСР, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, секретарь правления Союза писателей СССР, главный редактор журнала «Советский Союз», автор более пятидесяти книг Николай Матвеевич Грибачев.

Счастливо сочетаются в нем писатель, человек, гражданин. Его путь прям, удивительно последователен и целеустремлен. Редко кому удается при многокрасочности творчества, разнообразии жанров остаться внутренне столь собранным и цельным. Сам Николай Матвеевич Грибачев в одной из своих статей поясняет: «Каков человек, характер, таково и творчество». Наш разговор начинается с истоков, с детства и юности.

ный сторож бил в набат, оповещая о пожаре. После этого женщины с детьми ходили просить на погорелое. Из маленького домика при церкви выходила дочь опального священника Маша, подавала ломти хлеба, огурцы. Грустным взглядом смотрел на девочку отец и говорил: «Это хорошо — подать кусок хлеба ближнему... Только разве это им нужно? Им нужны книжки, бумага, карандаш... Хлеб потом они добудут сами...» Вот почему стала Мария Васильевна Зверева учительницей. И, окончив гимназию, выдержала экзамен экстерном, получила аттестат на звание сельской учительницы.

Но кого учить? И где? В то время была одна земская школа в Кокине, верст за пятнадцать, да две церковно-приходские школы на всю волость. Вот Мария Васильевна и ходила по хатам, уговаривала крестьян построить хотя бы маленькую школу. Ей возражали: «Нам оглоблю срубить негде, а вы — школу строить». Прошел год — сдвигов никаких. И решила Мария Васильевна отдать под школу одну комнату своего маленького жилья. Этого оказалось мало. Требовалось разрешение и ходатайство крестьян. Она ездила за шестьдесят километров в Трубчевск, уговаривала, добивалась. Крестьяне сколотили парты, сбили доску, покрасили черной краской. Осенью 1897 года впервые в истории села Лопушь крестьянские дети стали учиться грамоте.

Три года просуществовала школа в одной комнате. Помогло стихийное бедствие. Ураган поломал строевой лес. Помещик поставил условие — убрать деревья, а в уплату выделить лес на строительство школы. Поставили школу сельские плотники. Обслуживающий персонал не выделяли. Чистоту поддерживали под руководством Марии Васильевны ученицы. Помещик разрешил возить из леса валежник для отопления при условии, что учительница сама будет сопровождать в лес подводы, чтобы не рубили деревья.

Мария Васильевна в своих воспоминаниях писала: «Я нежданно счастлива, что вокруг меня нет ни одного неграмотного человека. За это я готова поклониться Советской власти, потому что широко открытая дорога ко всеобщему знанию есть высшее счастье народа, есть могучая сила, с которой он сокрушит все преграды и добьется такого великого и прекрасного будущего, которого я не могу представить даже в мечтах!...»

В нашем селе своей библиотеки не было, Мария Васильевна агитировала за книги, давала и свои. Профессор Бобров, житель нашего села, позволял пользоваться его библиотекой. Мне любая книга интересна. Стал старше, ходил на станцию, покупал книги на молоко.

Зимой все подходы к хате замело. А шестилетним мальчиком едва пробирался через сугробы, направляясь к своим родственникам. Мой двоюродный брат Семен учился в первом классе. Чтение ему давалось с трудом. Пока он волил пальцем по строчкам и произносил буквы и слоги, я запоминал. Так и учился читать. Своего букваря у меня тогда не было. В гостях у своего дяди я увидел произведения Гоголя, стал читать все подряд. Прочитанное меня просто потрясло.

Любовь к книгам мне прививал и отец, он пропел ее через всю жизнь. Даже когда я стал журналистом и приезжал в отпуск к родителям, отец ничего не просил привезти, кроме книг.

Я спрашиваю о наставниках, оказавших решающее влияние на творчество писателя. Первым в этом ряду Николай Матвеевич называет Горького.

— Я был делегатом на I съезде писателей от писательской организации Карелии. В ту пору мне шел двадцать четвертый год. И вот тогда ошеломляющее впечатление на меня произвел доклад А. М. Горького, само появление Алексея Максимовича на трибуне: исполненная спокойной достоинством фигура; неторопливая, глухая, окаяющая речь; ничего трибунного, ораторского, проповеднического, будто просто рассказывает бывалый человек о том, что повидал и переделал в дальних дорогах, — захватывало, покоряло. Его доклад был не просто доклад, а блестящее по эрудиции, по знанию материала, по философ-

ско-эстетическому обоснованию исследование о взаимоотношении труда и искусства, жизни и литературы, постановки далеко идущих задач для писателей, работающих в условиях социалистического общества рука об руку с народом. Тут забывалась и скромная простота Горького, и его «нетрибунность» — перед нами был великий гражданин нового мира, предвидевший его приход издали и отдавший торжеству его все силы своей жизни. Потому и сегодня мы можем с полным правом сказать: Горький — с нами. В трудах и борьбе, в огорчениях и надеждах, в планах и свершениях наших. С нами — как художник и гражданин!

Говорить о творчестве самого А. М. Горького — все равно что пытаться вычерпать океан чайной ложкой. Его творческая сила, его неиссякаемость, как и других колоссов русской литературы, представляются явлением феноменальным, загадочным — он создал огромный, неукротимо тяготеющий к орбите будущего мир со своим поразительным народонаселением, со своей твердостью и высотой, светом, цветом. Нужно было обладать необыкновенным зрением, чтобы в стремительном мелькании лиц, судеб, событий увидеть то, что он увидел. Наконец, нужно было обладать чудовищной работоспособностью, чтобы написать все это. Стоит особо вспомнить о широте Горького, его скромной готовности служить людям любым способом. Подумать и поразмыслить об этом стоит и сегодня и не ради того, чтобы всем нам стать Горьким или Маяковским, — в литературе каждый может быть только самим собой и никем другим, — а для того, чтобы, как делали это корифеи нашей литературы, в максимум отпущенных каждому способностей обогатить нашу литературу энергией, идущей от революционной мысли.

Горький был изначально в числе тех, кто насыпал полотно и укладывал рельсы нового пути. Для него не было проблемы выбора, он знал, куда идет поезд истории и кто машинист. Именно потому он по праву называется Буревестником революции — по праву же считается родоначальником советской литературы и ее духовным отцом. Почему? Потому, что он много скитался в людях и знал жизнь? Скитался и другие. Потому, что с детства знал труд? Это не только его участь. Потому, что, исходя из любви к человеку, до конца поверил в преобразующую силу труда, понял — главным содержанием всей нашей эпохи, ее движущей силой является бескомпромиссная революционная борьба труженика, создающего своими руками все ценности цивилизации, против эксплуататора, беззащитно наклады- вающего на них свою лапу: «Это — мне!» Художник нуждается в компасе духовном не меньше, чем путешественник по джунглям в обыкновенном. Компасом для Горького была борьба за раскрепощение человека от мерзостей того, что прежде называлось «властью от бога», а ныне на Западе называется «системой свободного предпринимательства». Именно на этой реалистической платформе возникло его гражданское и художественное творчество и не уступающая ему по форме и значительности публицистика.

И вот ведь что интересно — статьи, выступления, письма А. М. Горького настолько глубоко захватывают самые острые проблемы, волнующие современных литераторов и политиков, что, заменив во многих из них одни фамилии на другие, и они покажутся написанными сегодня. В чем дело? Мир не изменился? Нет, мир изменился. Все жило и двигалось вперед, даже политическая карта земли приобрела другую — к выгоде социализма — окраску, но не изменилось главное содержание эпохи — борьба угнетенного против угнетателя, труженика против эксплуататора, социализма против капитализма. Чем глубже и тоньше понимает художник судьбы своего народа и ведущие идеи времени, тем дольше в продлении, исчисленном веками, остается он живым на пути созидания.

— Николай Матвеевич, вам приходилось тесно общаться с Александром Фадеевым. Каким запомнился автор «Разгрома» и «Молодой гвардии»?

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

— Я не разделяю той издревле бытующей точки зрения, что умершим надо льстить и говорить только хорошее. Правда одна для всех — для тех, кто ушел, и для тех, кто в пути. Дурной человек остается в памяти дурными делами, хороший — хорошими. О Фадееве я вспоминаю как об одном из самых разных, образно и неистощимо интересных людей, и это отнюдь не в порядке дани поминальному обряду. Он, при всей признанности таланта и славном имени, жил очень напряженной внутренней жизнью, в вечном поиске и заботе, а роль руководителя Союза писателей дополняла и тяжело осложняла и его творческую работу, и его отношения с людьми. И хотя у Фадеева были недруги, всякие — по убеждению и заблуждению, — он, несмотря на происходящие от того неудобства бытия, имел значительное мужество быть честным, открытым и доброжелательно правдивым. Мягко, однако неуклончиво высказывал он свои мнения другим и о других, но никогда не боялся с подкупающей открытостью говорить и о своих ошибках и промахах, если они были.

Мне довелось убедиться в этом уже при первом личном знакомстве с А. Фадеевым.

Моя первая встреча с Фадеевым произошла не так, как я себе до того представлял. — не в Союзе писателей, а на даче Фадеева в Перedelкине, куда он меня пригласил для делового разговора. За окном стояла черная к ночи осень — черная от небес до земли, без единого огонька в поле зрения. Мокрый, зыбкий ветер тяжело ударил по елям, рождая глуховатый, тревожный шум. Даже дорожки в роще были еле различимы, опавшая листва, еще недолго назад желтая и красная, быстро темнела от сырости и все больше сливалась с темной мокрой землей. Именно о погоде были первые слова Фадеева, которые я от него услышал, пока разделялся у вешалки: «Ночь для Эдгара По, а? Или для лириков-влюбленных, — надо думать, и не замечают, что черт дуну съел!» — «Вы, кажется, были командиром на фронте?» — «Был». — «За языком по такой поре ходить — не видно, не слышно... А то и самого утянут! Тяжелое дело...» После нескольких общих фраз мягко, но настойчиво Фадеев стал интересоваться, как я смотрю на те или иные книги и статьи последнего времени. Я чувствовал, это заранее обдуманный зондаж нового в литературной среде человека. Зондаж — для чего? Тогда я этого не понимал. Обстановка и тон беседы располагали к доверчивой открытости, приходилось говорить начистоту. К концу беседы некоторые мои взгляды и определения не только не были разделены А. Фадеевым, но и вызвали его озабоченность. В заключение он сказал: «Не обременяйте вы еще, удили грызете... Обстановка у нас сложная, вам еще предстоит во многом разобраться, хотя бы для того, чтобы самому не носить синяки. Дров ломано до черта, новых бы ломать не надо...» Я спросил, какое отношение ко мне имеет аллегория насчет ломки дров. Он провел по седым, цвета утреннего дыма волосам, белозубо, удивительно подкупающе засмеялся, как-то по-человечески празднично, словно бы сразу исключая и отстраняя все подозрения, которые уже возникли или могут возникнуть в будущем: «О конкретно-стях — рано... Кто лезет за недозрелыми яблоками, только штаны и кожу рвет. Созреет — само упадет». Позже мне стало ясно: это были своего рода «смотрины» перед выдвижением моей кандидатуры на пост секретаря партийной организации.

Вскоре зашла речь — опять же начал сам А. Фадеев — о романе «Молодая гвардия», который перед тем критиковали за то, что в нем мало сказалося деятельность подпольных партийных организаций. «Сначала я очень обиделся за критику, — признался А. Фадеев, — Очень Н-да, так сказать. Жизнь — она штука такая, — высматриваемому брату за амбицию по первое число. Правильная была критика...»

И тут предстал передо мною тот Александр Фадеев, каким я его видел потом почти всегда, — увлекательный, открытый, правдивый и доверчивый к товарищам. Для него во сто крат дороже писательского самолюбия, уязвленного критикой, была истинная мера партийности и человечности. Поражала также его простота. Я знал, как далеко была видна его литературная слава, и, кстати, знал это и сам он, но при всем том был совершенно чужд рисовки, подчеркивания своей osobости. И дело тут вовсе не в том, что он опустил до уровня своего собеседника, — не так он был наивен! — а в том, что он как бы поднимал собеседника до своего уровня, чем и создавалась атмосфера непринужденности и дружелюбия. Мне кажется, объясняется это тем, что он с кандидатом старался быть прежде всего товарищем.

Я люблю его за то, что он сам любил людей, любил как писателя за то, что он в огромной степени обогатил нашу литературу и культуру собственным творчеством и с добродетельной правдивостью души помогал росту ее многочисленных талантов. Говорят, каков человек, характер, таково и творчество. Мы не всегда в достаточной степени осознаем эту истину и еще меньше умеем ее применить для дела воспитания молодой смены, но она несомненна. Жизнь и творчество А. Фадеева целиком, с величайшей силой убедительности подтверждают ее.

— Николай Матвеевич, известно, что вам довелось встречаться с Этель Лилян Войнич...

— У писателей, как и у их произведений, бывают удивительные судьбы, но то, что случилось с легендарным автором романа «Овод», вообще трудно представить. Когда мы в 1954 году, будучи в США, ехали в такси на Двадцать четвертую улицу Манхэттена, еще не верили в реальность происходящего. Сказать по совести, многие из нас, не являясь литературоведами, вообще считали, что автор «Овода» не может быть нашим современником. Было известно, и то немногим, что лет тридцать назад Этель Лилян Войнич переехала в Америку. На это всякие следы ее обрывались.

След Войнич отыскал Борисов, сотрудник ООН. Он учился английскому языку у одной англичанки, тоже работавшей в ООН, обучал ее русскому языку, попеременно попадая в положение учителя и ученика. Однажды, находясь в роли учителя, он попросил свою ученицу прочитать напечатанную в журнале «Огонек» статью о Войнич. «Но я знаю эту женщину, — с удивлением сказала та. — Я знаю, где она живет». Это была счастливая случайность для читателя романа и для автора. Теперь Борисов приехал с нами...

Помню первое холодное утро в Нью-Йорке. Дул резкий, порывистый ветер с океана. Прохожие поднимали воротники пальто. Двадцать четвертая улица почти безлюдна, довольно унылое место. На всей планете трудно найти угол, который бы так мало подходил для жизни писателя в старости. В тихомодном лифте поднялись на семнадцатый этаж. Мы, восемь человек, с трудом разместились в небольшой, не слишком комфортабельной комнате с поношенным диваном, с пожилыми, с вдавненными спинками креслами, с покрытым простой скатертью четырехугольным столом.

Вопла Войнич, худая, выше среднего роста женщина, с белыми волосами и очень простым материнским лицом. Переводчика не потребовалось — медленно, подбирая слова, она говорила по-русски. Мы рассказали ей о том, что ее книга не только многократно издавалась у нас, но является одной из любимых книг молодежи и что по роману поставлен фильм. Войнич сидела на диване, опираясь на палку, с которой, очевидно, ходила обычно, иногда поправляла на плечах темный вязаный платок. «Видишь, — тихо сказала она компаньонке, — я не зря тебе говорила, что в России не забыли моей книги». Мы попросили писательницу рассказать, как была написана эта книга. Войнич сказала, что в молодости она была в Париже и увидела в Лувре портрет итальянского юноши, который поразили ее благородством лица и глубокой задумчивостью. Сейчас писательница, которой шел девятнадцатый первый год, не в состоянии последовательно припомнить все обстоятельства создания книги, восстановить их может только ее архив. Беседа наша течет медленно, с паузами, — чувствует- ся, что писательница сильно взволнована и утомлена. Мы просим ее написать несколько слов для советской молодежи. Она села к столу и написала в блокнот: «Всем детям Советского Союза прекрасного будущего в мире Мира!».

Впоследствии, когда мы выступали в нашей стране с рассказами об Америке, советские читатели настойчиво задавали вопрос, посланы ли Войнич издания ее романа и гонорар. В этом проявилась очень искренняя и трогательная забота о старой писательнице, которая подарила людям такую волнующую и страстную книгу. Мы могли ответить на этот вопрос «да». Войнич посланы советские издания ее романа, гонорар, копия фильма «Овод» и узкоплеченный киноаппарат для его демонстрации. Какое это, должно быть, высокое и полное счастье — счастье, которое равнозначно возвращению давно ушедшей молодости!

Даже в «военных» рассказах вы часто употребляете слово «работа». А как вы объясните понятия: «счастье писателя», «счастье человека, советского человека»?

— Я немало повидал на своем веку, прошел две войны. В Великую Отечественную, которая стоит десяти войн, на себе испытал тяжелый ратный труд, был ранен. Зато в рассказах «День и две ночи», «Шаг, шаг, еще шаг», «Здравствуй, комбат!» мне не пришлось ничего выдумывать. Самая большая радость для меня в войну — разгром врага под Москвой, окружение гитлеровцев под Сталинградом и сама Победа.

Всегда горжусь, особенно вдали от Родины, что я советский человек. Четыре раза я был в Америке, разжиревшей на войне, стянувшей в подвалы столько золота, и рад был оттуда идти домой пешком. На экранах американского телевидения и в кинофильмах со стрельбой и рекламой не увидишь рабочего, инженера или писателя. В Америке хозяин смотрит на рабочего, как на инвентарь.

Совсем иное отношение к рабочему человеку в нашей стране: талантлив — иди до самых высот! В этом я тоже убедился на себе. В шестнадцатый лет, как все в деревне, я трудился в поле, потом закончил школу крестьянской молодежи с агрономическим уклоном. Прежде чем стал журналистом и писателем, был гидротехником и геодезистом.

На первой сессии Верховного Совета РСФСР одиннадцатого созыва Николай Матвеевич Грибачев вновь избран Председателем Верховного Совета РСФСР. Дел у писателя, редактора, общественного деятеля, как всегда, много. Рассказывать о планах и задачах Николай Матвеевич не любит — он просто работает. В этом смысле автор напоминает одного из героев его рассказа «Белый ангел», рассказывающего так: «Единственная высота, с которой человек виден в подлинной сути своей, — это его дело».

Беседу вел
К. ХРОМОВА.